

Витим Кругликов

То, что увиделось...

1. Так же как чукчи неудавшиеся японцы, так и русские неудавшиеся немцы, англичане, испанцы, вообще европейцы. Мы в целом неудавшиеся европейцы и, больше того, мы — неудавшиеся китайцы, японцы, т.е. неудавшиеся азиаты...

2. В России действует принцип инерционного расширения. За радость охвата безмерности (безмерного пространства), за захват и охват посредством бега, приходится платить: наступает точка времени, когда инерция расширения начинает действовать в обратном направлении, обращается в действие сужения. И происходит кровавый бег назад — в свой исторический дом. Сейчас, в 90-е годы, беженцы в Россию бегут не только с мест расселения других этносов, но и с юга России, с востока России, с севера России, из Сибири. То есть беженцы в Россию бегут из России...

3. Коммунисты. В России коммунисты или большевики, называть можно по-разному, были всегда. В самом низу — это был сход, мир, круг (казачий), а в верхних слоях гнилой атмосферы этого места располагались различные виды соборности. В зависимости от климата столетия, стоявшего на дворе, они варьировались в способах означивания, но оставались неизменными их архетипические телодвижения. Вообще говоря, эти образования — не вертикально расположенные, но социально и культурно симметричны по отношению к друг другу. Ось координат всегда выбиралась или случалась случайно. Основная направляющая этих архетипических телодвижений мира или соборности — тотализация с редуцированием к нулевым отметкам всего выходящего за горизонт соборного видения.

Внутреннее устройство соборности основано на обязательном корне общности — мир, сход, коллектив, *Gemeinschaft*, партия, которая здесь всегда стремится не к части, а ко всеобщности, и пр. Что части социума могут быть равны целому, равноправны с ним, равнообъемны с целым — это для соборного менталитета всегда находилось за гранью понимания, всегда было от лукавого, не только не приветствовалось, но являлось объектом нетерпения. Корень общности манифестируется в качестве общины и содержание этого корневища характерно наблюдаемыми признаками: (1) приведение к общему знаменателю; (2) усреднение индивидуальных ментальностей; (3) страх персональной ответственности. Общий принцип соборности — стремление к связанности (*fascio*)...

Посему наши нынешние доморощенные патриоты-фашисты сами по себе не удивительны. Они просто симптом.

4. Тоталитаризм, вероятно, в нашем «совковом» случае есть ощущаемая на уровне хребта, на уровне позвоночника связанность каждого отдельного, атомарного индивидуума с точкой власти как центром. Точечная телесная зависимость от действия этой вершинной точки: то режим изменяет, то денежную реформу вдруг проведут, то определяют, что твое не есть твое, то дадут выбирать, то не дадут, а если и дадут — то между плохим и худшим, то включают механизм обмена, то выключают его. Поле власти у нас есть плоскогорье, из которого всегда определяют характер законов того места, где происходят движения душевной жизни. Тем, что задается тон (а задается он всегда произвольным, а значит, трансгрессивным порядком) законам движения отдельного атомарного существа, тем самым каждого из нас незримо привязывают к центрирующей точке этого плоскогорья.

5. Русские, россияне, т.е. вообще все те, кто населяют эту одну шестую земного шара, больны особой трудно распознаваемой болезнью, корни которой гнездятся даже не на молекулярном, а на атомарном уровне. Это поражение ментального тела российскости формирует линию отклонения в генетическом коде племен, народов, этносов, пребывающих на этом прекрасном и гнилом месте. Я бы назвал этот недуг империализмом души и комплексом провинциализма. Империализм души проявляется в том, что мы страстно желаем быть самыми самобытными, самыми оригинальными, самыми первыми, мы мечтаем быть «родиной слонов», часто ставим на кон свою жизнь только для того, чтобы центрировать на себе духовные и совокупные творческие

поиски всего мира, мы стремимся поместить себя в центр и образовать вокруг себя фокус культурного бытия. Можно сказать, что по плотности страждущих централизованного величия нам нет равных: на каждую душу населения у нас приходится по меньшей мере три честолюбца и три тирана. И в этом мы стремимся к тотальному захвату и овладению всего культурного пространства. Этот империализм души основан на потрясающем отсутствии в себе самостоятельности — нам все время кажется, что мы отстаем (от Запада), не достигаем, не дотягиваем (до Востока), что мы сидим в медвежьем углу, далеки от райских кушей и живем где-то на Краю, движемся где-то по Краю. Опыт ощущения того, что мы провинциальны и далеки от центра, того настоящего центра, где и идет, протекает полнокровная жизнь, мы переживаем как высокую гриппозную температуру. Результат этого переживания — неугасимая энергичная деятельность по сбиванию масла из пустоты, то есть огнем и мечом представить Край — Центром, кровавая перманентная попытка постанова и превращения Края в Центр. И переживание этого опыта также жутко абсолютно — мы все очень часто падаем почти что замертво от жуткой головной боли; тяжелая, мрачная тоска в желании вырваться из этого краевого, межеумочного состояния — наша непреходящая мигрень.

Поэтому мы ненавидим талант, ненавидим наше собственное существо, ставшее гением.

И когда умирает какой-нибудь наш неординарный, то...

Дело не только в том, что мы умеем любить только мертвых, но мы и не можем любить своих великих мертвых. Мы их любим только в момент смерти. В начале мы их не признаем, тираним, преследуем, при их жизни мы уплощаем и уменьшаем их до себя, пытаем, высылаем, а то и просто уничтожаем. Затем плачем и скорбим. Но только в момент смерти, поминание в девять и сорок дней. И даже в момент их смерти нам печально и ... хорошо. И это все не уравнивает того, что мы делаем со своими великими после переживания момента их физического исчезновения. Мы роемся в грязном белье их жизни, подвешиваем насмешкам и расчленению продукты их горения.

6. Перформанс и суицид. Замечательно, что суицидент тщательно выбирает место для акта суицида. В этом какая-то сторонняя, о-страненная и странная позиция по отношению к собственному сознанию.

Есть врожденные суициденты.

Перформанс — это то, что не может быть, это то, что не есть. Перформанс — это отсутствие существования. Единственно возможный перформанс — это акт суицида.

Или — акт убийства.

Замечательно, что и для суицидента, и для перформансиста необычайно значимо, наполнено смыслом знака, нахождение пространственной точки для совершения акции. Это сигнализирует о наличии у обоих потенциальных акцидентов необычайно развитого чувства связанности акта переживания с топологической формой. Форма топоса как бы являет содержательное условие для возможности акта; она собственно и есть тот необходимый и достаточный факт, при котором акт может состояться как факт, получить свою фактичность.

Поскольку в акте перформанса воплощается и получает жизнь отсутствие существования, то для перформансиста необходимо *у-достоверение*, и вообще сама по себе достоверность случающегося и случившегося, происшедшего. Эта достоверность черпается в присутствии событийности в пространстве перформанса. Достоверность есть то, что отличает перформансиста действительного, аутентичного, от перформансиста симуляционного, фантомального. То есть подлинность акта убийства и суицида в смысловом отношении несомненна, поскольку эти акты определены границами начала и конца. Фантомальный перформанс неизвестен во временном отношении: начало и конец события многозначны и всегда подвержены плюральной интерпретации. Поэтому в фантомальных перформансах роль смысла времени берет на себя форма места.

«Оставь надежду всяк сюда входящий» — входящий в ту сферу, что находится за областью жизни, — да! Но входящий сюда — в жизнь, — не может быть без надежды. Без надежды — нет жизни. Если нет надежды, а она, как известно, умирает последней, то нет жизни. Со смертью надежды — ты мертв. Ты можешь еще жить, но только как труп, как мертвая фигура, ты сможешь вести только жизнь мертвеца, которого влечет лишь внешнее. Без надежды ты есть только овнешненное.

Постмодернистские перформансисты — фантомальные мертвяки, притворяющиеся живыми. Их тяга к жесту, их непреодолимая зачарованность жестом — есть не что иное, как тоска по «живой жизни», желание на мгновение стать живым. Но произведение, автор, что и составляет тело искусства, поэзии, литературы, в их мертвом взгляде давно умерли, мертвы, а потому мертвый не может, не в состоянии родить живого.

Ощущение надежды как-то связано с почвой, с почвой в смысле идентичности. В беспочвенности, в отсутствии самодостовенности «живая жизнь» возможна хотя бы в поиске идентичности. И это тоже есть присутствие и выражение надежды. Если же есть надежда, а тогда и есть вера, то беспочвенность не страшна, поскольку идентичность рядом, она живет с тобой, и когда она тебе нужна, когда испытываешь жажду, ты протягиваешь руку и берешь этот стакан воды.

Вопрос тогда заключен в следующем: чем и почему так важна форма топоса для суицидента?

Ответ: топос в отличие от хроноса (который всегда имеет и может быть только в условиях четкой формы, и это — прошлое, настоящее, будущее) обладает чрезвычайным многообразием и множественностью форм; поэтому-то для соединения времени с пространством необходимо найти возможность обрести точку адекватности формы времени с формой пространства. Суицидент затруднен возможностью выбора из многого — единственного.

7. О театрализации мира. Современная ситуация в мире и, в частности, в философии наводит на мысль, что мир, а вслед за ним и Мысль об этом мире, углубляют театрализацию своего бытия. То есть сейчас как-то стало очень заметно, что бытие однотонно, монотонно, скучно до безумия. В результате для заполнения этой дыры Мир устремился за развлечениями. Скука, как дыра в интересном, должна быть побеждена.

Мысль также становится развлекающей и развлекающим началом, которое призвано удовлетворять (или замещать) ее энергетико-творческие потенции. И основной вопрос философии «что есть истина?» перестал быть центрирующим фокусом и направляющей линией для производства и самопроизводства мысли. Философская Мысль ищет обрамление, жаждет новейших, неизведанных форм и потому давно забыла о своей страсти устремления к истине. Она все больше и больше декорируется, все больше и больше располагается в зоне мгновенности, она как бы все больше стремится поместиться на пике настоящего времени.

8. В основании культуры, вообще ее природным источником и импульсом для развертывания является *размышление*, которое может осуществляться, выполняться, бытийствовать в различных формах. Оно может осуществляться в искусстве, религии, конечно же, в литературе, но также размышление, которое есть *дух культуры*, может проявляться и в политике, и в экономике,

и в простом житейском труде и даже в войне. Дух культуры также дышит там, где хочет, в том месте (а это та или иная сфера человеческого бытия), где ему это возможно, комфортно, удобно, где ему результативно. Размышление — это точка умственного взгляда, из которой разворачиваются лучи видения, обозрения, и это та точка, которая может и должна быть подвергнута сдвигению (или изменению) для того, чтобы найти, обнаружить новые горизонты обозрения.

Поэтому можно утверждать, что дух культуры располагается в зоне воображаемого и сама культура есть топология духа.

9. Природным импульсом цивилизации, совместно находящейся с культурой (или нет!), является *расчет*. Расчет как сложность, приставленность к друг другу, приспособленность. Рассчитывание по времени характерно монотонностью повторов. Но так как математики нет без арифметики, то можно утверждать, что цивилизация и есть арифметика духа, — это та сфера, где дух присутствует в ряде уложенном и точно измеренном повторами количественно. Только это количество присутствует в рассеянном виде.

10. Социальность в России аналогична маятнику; только маятнику шизоидному, временные периоды колебания которого не поддаются измерению. Более того, они случайны. Поэтому регулярности или какой-либо закономерности в этом болотном чуде нет: правое наступает, когда захочет, а левое выполняется с некоторым излишком и в силу того, что оно не может не наступить.

11. Православие и сентиментальность. Есть разные возможности интуитивного видения. Так очевиден до обычного невидения тот факт, что православие сродни сентиментальности, сродственно с ней. Оно не чувственно, но страстно и в своей страстности и в своем бесстрастии — чувствительно. А это есть сентиментальность, которая почти что свойство православия. Для этой интуиции практически нет видимых доказательств. В качестве таковых могут выступать разве что некоторые факты литературной реальности. Но, как всякие такие факты, они в своем ядре имеют различную интерпретационную природу.

Но вот частные метки, по которым можно хоть заметить смутные очертания такой сродственности: скажем, всем известна суровость, исключаяющая фамильярность и сентиментальность (эдакую повышенную слезливую и безответственную чувствительность) иудаистского Яхве. Если же сравнить католического Христа с протестантским, то в протестантизме Христос — некий

судия, живущий в сердце, а католический Христос — это вершитель, судия и отец в некоей совокупной единичности, творящий суд сверху. В православном же Христе есть что-то от «вздохов на скамейке», а такая сентиментальность фактически равна пошлости и может быть выражена в ней как в специфической форме.

Я хочу сказать, что расстояние между православием и сентиментальностью, между сентиментальностью и пошлостью достаточно мало, а в частных проявлениях вообще стирается или сходит на нет. Причем речь здесь не о том, как это проявлено и выражено в массовидных отправлениях веры, а о том, что сам православный Христос в том или ином ипостасном образе задает возможность такой сродственности. И даже изобретенное для церковных нужд сусальное золото и предметы из других драгоценных материалов, которые в результате их таким образом намеренной обработке теряли свойство «драгоценности», а только создавали намек, иллюзию подлинной вещи, дают нам знаки сродственности и сопряжения православия с сентиментальностью и далее с пошлостью. Собственно говоря, сусальность и есть фактурное ядро пошлости, которую так трудно определить и границы которой изменчивы, почти беспредельны (пошлостью может быть все) и практически неуловимы. Но сусальность как ядро — есть лишь начало, предупреждающий знак того, что здесь есть неподлинность, что это обманка, что за этим движется и проявляется пленочное чувство; ведь сусальное золото — это лишь пленка, золотая поверхность, у которой нет внутреннего, это внешняя плоскость, лишенная объема.

12. В слове император есть что-то языческое, рожденное и управляемое богами. Очень не-русское. А в титуле — «царь» — очень русское, так же как в «князе». Русский повелитель, тиран, диктатор, вождь не мог быть королем. Его и не было.

13. Я скептик и, глядя на современную политическую и социальную возню у нас, как-то не могу себе представить, что через тридцать или сорок лет в этом болотном крае, который есть Россия, может жизнь устояться, что она может стать такой, где человек может чувствовать себя человеком и быть им. В общем-то, в ее светлое будущее не верится, хотя, разумеется, она может стать сильной, могучей, жандармом мира и проч.

14. Во всякой, как нынче говорят, тусовке (научной, художественной, литературной, философской, социологической и проч.), когда субъекты собираются регулярно, когда они связаны общим делом, интересом или общей игрой, постепенно выраба-

тывается свой язык. Это тривиальный и известный факт. Но если попытаться на мгновение влезть в шкуру размышлений, в язык ныне властвующей тусовки — Ельцина и его окружения (как бы он не менял этого окружения), то там происходит аналогичный процесс: язык, который выработала тусовка и которым она пользуется, с каждым часом все дальше и дальше отодвигается от жизненных реалий. И хотя он понятен, но поскольку он призван отражать и выражать жизненные интересы данных, конкретных тусовщиков, то этот язык противостоит публичности, он требует сокрытия, должен сохраняться в тайне для своего полноценного функционирования в целях внутритусовочной коммуникации.

15. Настоящее не поддается рефлексии по той причине, что оно настоящее. Как только оно рефлексируется в нашем сознании — оно тут же становится не настоящим, а прошлым. В ясное июльское солнечное утро прошлое прекрасно и удивительно, но только небеса затянулись этими родными серенькими тучками, как собственное прошлое тут же выползает и выкручивается перед глазами отвратительной, мерзкой и пошлой фильмой.

16. О самооправдании. Как-то слушая Горбачева в годовщину 1991 года поразило в нем нынешнем меня другое: удивительная способность сознания жить в режиме самооправдания. То есть оказывается, что любое персональное сознание в принципе никогда не может не прокатываться по рельсам самооправдания. Состояние самооправдания — это неотъемлемый уклон, неизбежное пространство и неизбежный механизм, который Кто-то заводит в каждом из нас. В той или иной степени мы погружаемся в этот период-режим самооправдания. У Горби эта машина сбой не дает — виноваты все, но только не он.

Начало самооправдания находится там, где появляется Я, и возникает оно в точке начала деяния по оценке Другого. Этим Другим является все что угодно. То есть можно фиксировать начало самооправдания в месте образования знака самотождественности, идентичности.

Нужда в самооправдании — это нужда в том, чтобы не быть несчастным.

Самооправдание — это вечный двигатель — *perpetum mobile* — в душе субъекта.

Но самооправдание включается, когда возникает потребность в измене самому себе. Не потребность в изменении себя, а, наоборот, потребность о-твердить себя, потребность в том, чтобы

в душе устоял сформировавшийся Я-образ, но при этом есть нужда в убегании от подлинного своего Я. То есть в душе образуется пространство пустоты, дыра между двумя потребностями-влечениями, когда две мои потребности начинают расходиться: одна — чтобы Я-образ — устоял, другая — чтобы делать, совершать мысленно и с чувством то, что желается. Вот в этих «ножницах» и начинает работать машина самооправдания.

17. Беда всех нас, русских (русских русских, русских украинцев, русских казахов, русских татар, русских евреев, русских грузин и т.д.), в том, что мы не умеем и не хотим, и органически не способны отделять себя от государства. Обычный русский человек не может помыслить себя в качестве суверенного существа, независимого в отношении государства. И поэтому мы всегда живем на «вздерге»: государство в любую минуту может вмешаться тем или иным способом в мою приватную жизнь, государство по отношению к частному лицу всегда в ситуации режима производства. И каждый из нас как частное лицо не только считает, что так и должно быть, но и не может жить, быть без ощущения, что он *принадлежит* этому государству. У нас какой-то дремучий *«материнский паттернализм»* в крови.

Поэтому, например, когда мы отделяем церковь от государства, то мы фактически отделяем государство от веры. И также мы отделяем государство (а значит, и правительство и все государственное устройство) от закона.

18. Мир быстро и все уверенней вступает в эпоху цивилизации, которую Данелия в своем фильме «Киндзадза» назвал «цивилизацией, построенной на принципе цветовой иерархии штанов».

Подумалось: современная философия все больше и больше основывается на принципе модности — сиюминутности вкуса, который паразитирует на уже склишированном материале. Современная философия — это философия от кутюрье.

Лучше всего состояние современной философии может дать аналогия в терминах биологии. Потому что история той философии, которая осмысливала реальность, непосредственное бытие, фактически исчерпала свои возможности, свою силу и волю для ответов на *последние вопросы* бытия. Собственно эти последние вопросы поставили пределы философской мысли.

И теперь вся современная философия, а в особенности наша отечественная, и мы все паразитируем на прошлой или чужой мысли идентично известным биологическим формам.

Симбиоз — «формы тесного сожительства двух организмов разных видов, включая паразитизм».

Паразитизм — «биол. форма отношений между двумя организмами разных видов, из которых один (*паразит*) живет на другом (хозяине) или внутри его и питается за счет него; ...»

Комменсализм — «биол. нахлебничество, один из видов сожительства организмов разных видов, характеризующийся тем, что один организм живет за счет другого, не причиняя ему какого-либо вреда; напр., рыба-прилипала присасывается к крупной рыбе и передвигается с ней, питаясь остатками ее корма». (Словарь).

Вряд ли нужно комментировать эту аналогию.

19. Обман, вообще говоря, невозможен. Никого и никогда нельзя обмануть в том, что ты есть на самом деле. Как только кто-то начинает обманывать кого-то, как только кто-то стремится обмануть кого-то, то он волей-неволей пытается обмануть что-то, обмануть какое-то нечто в самом себе. И мгновенно в своем обмане он становится видимым, четко проступают контуры этого нечто. Очень хорошо это видно в любой практике власти. Как только власть стремится что-то сделать обманым путем, она не столько обманывает людей, сколько обманывает то дело, которое принуждено отправлять — дело правления. И это сразу же становится *очевидным*.

20. Индивидуация, индивидуальность, индивидуализм, чувство правомерного объемного состояния Я — есть высшая точка развития гуманистического движения Европы, развития действительного нецентрированного на одном человеке реального гуманизма как такового.

И это чувство, в целом движение в индивидуирование — есть отправное основание для ментальности во всей целостности жизнебытия, которое начинается в Европе именно с Чехии. Чехия — отправная точка личностной огражденности и чувствопонимания ценности объема Единицы. Между Россией и Чехией определена историей бытия этносов, онтичностью культуры жесткая граница духовного различия, которая проявляется в деталях и знаках эмпирического повседневного бытия. Только они настолько очевидны, а значит, и неразличимы, что требуют тончайшей дешифровки.

Вся атмосфера Чехии ощутимо насыщена особым состоянием сознания — самоощущением индивидуальности, достоинства индивида. И это самоощущение проговаривает сам чешский язык и язык ритуальных установлений.

Например, слово ПОЗОР в чешском означает предостережение на самоохранение — поберегись, осмотришь вокруг себя, то есть огради свою индивидуальность как единичное пространство. В сравнении с русским ПОЗОР — выставление себя, или другого на публичное осуждение, осмеяние; то есть отдача индивидуума во власть общности; наше ПОЗОР — есть не что иное, как стирание индивидуальности.

На тех многочисленных кладбищах, где я вынужден был побывать, любопытная деталь-знак в надписи на надгробии.

Жизнь личности на чешских могилах обозначена следующим образом:

(год рождения) (год смерти).

То есть рождение — зажглась звезда неповторимая и единственная, смерть — крест перечеркивает ее горение, горящая звезда погасла.

На русских могилах в традиции православия в надгробии или на кресте жизнь индивидуума, личности обозначена по другому:

год рождения — год смерти.

Это тире знаменательно и ужасно. Тире — это провал, пустое бытие, которое только значимо этими двумя цифрами, свидетельствующими, что в целостности какой-то общности (семьи, клана, деревни и проч.) пробыл некто, составляющий эту общность. Оказывается, эта единственная жизнь не уникальна, она не важна, поскольку важна и уникальна жизнь этой общности, этой стадности, этой соборности.

Собственно, соборность и есть коммунальное тело русского человека.